

УДК 82:316.3 +УДК 82.08

**ЧТЕНИЕ КАК БЕСЕДА: КОНЦЕПЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ С.Н. ДУРЫЛИНА
(НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ «В СВОЕМ УГЛУ»)**

© 2013 г.

И.В. Мотюнайте

Псковский госуниверситет

ilona_motya@mail.ru

Поступила в редакцию 10.10.2012

Анализируются записи о чтении и литературе в книге С.Н. Дурылина «В своем углу» (1924–1932) и определяется авторская концепция литературы: в ней автору видится «младшая сестра религии», что определяет специфику чтения как коммуникативной практики.

Ключевые слова: Дурылин, «В своем углу», история русской литературы, философия литературы, социология литературы.

С.Н. Дурылину всегда было присуще разнообразие интересов, что и обусловило многогранность его писательской практики: статьи о педагогике и церковной жизни, стихи, публицистические очерки и повести, мемуары, роман, биография художника, работы по истории литературы и театра. В его обширном творческом наследии литературоведческие исследования, написанные в разные периоды жизни и отличающиеся разной методологией, занимают едва ли не самое большое место. Будучи активным участником литературного процесса в 1900-е и 1910-е годы (автор стихов и рассказов, член «Сердарды» и Брюсовского Общества свободной эстетики, ритмологического кружка А. Белого и кружка Элліса по изучению Бодлера, Вагнеровского кружка К.Ф. Крахта), Дурылин оказался на его периферии в 1920-е. В это время, однако, не прекращалась его исследовательская деятельность, которая и в 1920-е, и в 1930-е годы протекала параллельно с художественной. Именно в это время созданы роман-хроника «Колокола» (1927–1928) и книга «В своем углу» (1924–1932). И роман, и основная часть тетрадей «Угла...» писались во второй ссылке (Томск – Киржач, 1927–1933), наиболее тяжелой для Дурылина физически и материально. Оба произведения не предназначались для печати и были опубликованы почти через полвека после его смерти. В обоих текстах тема чтения одна из ведущих [1, с. 115–123], но если в первом она художественно отрефлектирована, то во втором мы сталкиваемся с непосредственным отражением читательского и исследовательского опыта в разнообразных формах.

В этой книге Дурылин писал, по собственному признанию, «только то, что хотел», насле-

дая жанровую традицию «Опавших листьев» В.В. Розанова; это презентация сознания автора в форме отдельных записей разной жанровой природы: письма, стихи, мемуары, эссе, дневниковые заметки, пейзажные зарисовки. Размышления о книге, о писателях, о русском литературном процессе и его изучении занимают в ней существенное по объему место. По хронологически выстроенным записям в тетрадях (книга состоит из 14 тетрадей) видно, как постепенно в сознании автора живопись, музыка и театр теснят литературу, в большой степени благодаря личному общению Дурылина с деятелями других видов искусства: М.В. Нестеровым, Н. Метнером, Е.В. Турчаниновой, Вл. И. Немировичем и другими. Позднее, в Болшевский период его жизни (1936–1954), на первое место, по крайней мере, в научной и преподавательской практике выходит театр: детское увлечение с 1940-х годов стало профессией. Занятия же литературой в 1910-е годы были делом жизни, соперничавшим со служением Церкви (в 1920 году, перед рукоположением его в сан дьякона, затем иерея, Дурылина мучила несовместимость Пушкина и Св. Макария на одной книжной полке); во время ссылок и скитаний 1920–1930-х годов историко-литературные штудии были источником скудного дохода и занимали досуг Дурылина; позднее же стали, наряду с театром, профессией и второй, «теневой» жизнью успешного советского профессора, о чем свидетельствует его архив [2, с. 426–477].

Историческая дистанция и публикация части его работ позволяют говорить о том, что многообразие интересов обусловлено складом личности Дурылина, которому было свойственно

стремление к целостному знанию о мире и постоянная рефлексия о человеческом духе и о себе. При этом в книге «В своем углу», несмотря на ее очевидно дневниковый характер, относительно немного фрагментов, отражающих размышления о собственной личности. Тем не менее они ясно говорят о сформировавшемся мировоззрении (автор – уже зрелый человек, на четвертом и пятом десятке лет) и строгом самоотчете:

«Не умею я жить. Не умею я жить.

Все №№ жизни, – как №№ сапог на ногу, – все для меня неподходящи. Я – недомерок. «Недомерочных» размеров жизни – особенно при «стандартизации» ее, – в продаже нет. А сам я бессилён соткать на себя недомерочную одежду, сшить недомерочные сапоги на свои ноги – и ношу что попало: и все не по плечу, не по ноге: то велико, то жмет. <...>

Сил у меня не было, или время слишком мало, но я одежды и обуви себе не сшил, – а ничья готовая мне не впору...

Мерочные люди, – и большие, и малые, и больше меня, и меньше, – мне были близки только до той поры, пока считали меня, а я считал их, что мы – одной мерки; как только оказывалось, что я – недомерок, наша близость исчезала, и выходило, что

Я изменял и многому, и многим,

Я покидал в час битвы знамена.

Но я не изменял, не покидал... я просто был недомерком. Сколькo боли причинял я людям моей недомерочностью.

И сколько раз сам я хотел заплакать оттого,
что я недомерок.

Нет. Пусть так. Это – тоже *дар*»

[3, с. 557. Курсив автора].

Или: «Одному даны в жизни пути, другому перекрестки, лишь соединяемые недолгими дорогами.

Я такой перекресточник.

Я заглядывался на развилинах дорог, на перекрестках – и свертывал направо, налево.

Свертывал с пути?

Нет. Я и до сих пор не знаю, где лежал мой путь. Я не в сторону сворачивал, – я просто сворачивал. И шел – до нового поворота... Какой-то и в этом есть путь. Куда-то и он ведет.

Но это не мне знать.

Я – перекресточник. Недомерок и в дороге, как всюду. 13.VI» [3, с. 616].

По этим записям видно, что осознание себя и принятие склада собственной личности сочетается у автора с желанием опоры, при этом поиск ориентиров идет вонне и, прежде всего, в людях. Особенностью своего личностного

склада Дурылин считает тягу к другому человеку: «Я подобен хмелю или повилিকে: чтобы расти и жить, мне нужно вокруг кого-нибудь обвиться, – хоть вокруг сухой и черной палки. И всю жизнь я обвивался вокруг того или другого. Но палки переносили на другое место, стволы, вокруг которых вился, подрубали – и я оставался один и в тоске искал новый ствол, новую ветку, новую тычинку, чтоб обвиться вокруг них, чтобы жить...» [3, с. 199]. Коммуникативность Дурылина и диалогичность его сознания отражены, в частности, в композиционном оформлении книги «В своем углу» множеством писем и мемуарных заметок, а также в прямо нас интересующем вопросе о восприятии литературы.

Чтение как общение – наиболее точное определение дурылинской концепции литературы; читать = беседовать. Именно это слово автор использует, определяя общение через текст, в частности, в 59-й записи XII тетради: «Кант не стал бы *беседовать* со мною – я показался бы ему слишком туп, работая над «критиками», он просто не захотел бы отнимать для меня время от своего труда; Паскаль был уединенник, полумонах – он не прервал бы для меня своей молитвы и не нарушил бы своего созерцания; Лао-Си скрывался в недоступных пещерах – я не нашел бы его для *беседы*, даже если б прорвался в Китай; Марк Аврелий был император – придворные и стража не допустили бы меня в его шатер или дворец для *беседы*, а теперь я *беседую* со всеми ими...» [3, с. 693. Выделено мною. – И.М.]

Важность коммуникативного аспекта литературы проявлена и во внимании автора к собственному восприятию художественного текста: «Со стихами также бывают встречи, разговоры, романы» [3, с. 626]. Показательно, что в тексте «Угла...» доминируют фрагменты, передающие воздействие литературного произведения на читателя, над записями о самих произведениях. Относительно немногие из упоминаемых «живут» в книге, прежде всего, в форме названий; иные способы репрезентации художественного произведения (упоминания о героях и сюжетах, цитаты, обсуждение описанных ситуаций, смысла произведения) Дурылину не свойственны. Зато собственное впечатление от книги или размышления о ее воздействии на слушателя (Дурылин часто читал вслух жене) нередки. Например, автор рассказывает, как после слушания «Князя Серебряного» у Ирины Александровны (жены) поднялась температура; вспоминает о первых впечатлениях от стихов Тютчева и А. Толстого; полторы страницы посвя-

щает воспоминаниям о том, как поразило его стихотворение Случевского:

«Мальчик, я его понял, охватил его звучание, его мысль, – и перечитывая теперь, – переживаю первую встречу и старую любовь...

Оно – все то же, и я... не тот я, но, видно, и во мне все то же» [3, с. 627].

Довольно часты в тексте признания в любви к писателю: и к самому близкому Розанову, и к Лермонтову, Тютчеву, Боратынскому, А.К. Толстому, Случевскому, Лескову, Сологубу и др. Например, «Я люблю Случевского давней, действительной, болящей любовью» [3, с. 207].

Главная особенность чтения-беседы, по Дурылину, – ее эмоциональное воздействие, формулой которого становится пушкинская строчка «Над вымыслом слезами обольюсь». Не случайно, анализируя эпистолярное общения, автор выделяет в нем иную грань, оперируя словом «мысль»: «"Угол" мой превращается в "выбранные места из переписки с друзьями". Выбранные – для себя. Я никогда по-настоящему не писал "для читателя". Что мне в нем? Я его не знаю, не узнаю и не хочу знать – во всяком случае, никогда для него не хотел писать. Писал для себя. Мысль же от себя иногда толкалась к другим, – к близким. Письмо – форма общения прямая, чистая, без задней мысли: думаешь и пишешь – для определенного лица: для Воли (Разевига), для Шапошникова, – есть смысл в такой работе, есть верный адрес, по которому она идет...» [3, с. 640–641]. Диалог же через художественное произведение отличается от эпистолярного, прежде всего, задействованностью эмоциональной сферы читателя и затрагиванием глубин его натуры. Очень выразительна в этом отношении 46-я запись в XI тетради: «Когда я прочел в первый раз Достоевского, я сразу почувствовал, что и мир стал другой, и люди другие, и я другой» [3, с. 643]. Или чуть более ранняя, созвучная ей: «Я прочел маленькую книжечку Тютчева впервые летом 1905 г. Помню, слез с трамвая на Благуше. И была над лугом огромная черно-сизая туча, – как зверь, стоймя, показывала она чешуйчатую спину, – и я впервые понял тут, что то, что я увидел и что на меня повеяло от нее ледяным, за-земным холодом, сделал со мною Тютчев» [3, с. 547].

Сказанное объясняет, почему в вопросе о назначении искусства Дурылин наследовал толстовскую традицию. Он особенно ценил в русской литературе ее открытость жизни, видя в этом отличие от западной: «В России была неблагоприятная литература. Шекспир, Гете, Шиллер, Гюго, Флобер <...> оставались в лите-

ратуре и читателя своего оставляли в литературе <...> а тихая буря и непротивленский «натиск» Толстого приводили к Сибири, к дисциплинарному батальону, к тихому взрыву государственного и социального строя» [3, с. 421]. Такой тесной связью литературы с индивидуальным человеческим бытием Дурылин мотивирует и сложность ее изучения: «Есть писатели, которые хотят, чтобы читателем их книги был только читатель: прочел, «облился слезой над вымыслом», поставил книгу на полку – и все кончено. <...> это писатели *легкие* для критиков и историков литературы: Пушкин, Тургенев, Гончаров, Чехов. Но есть писатели *трудные*. Они не довольствуются тем, что читатель их прочтет <...> они хотят с ним *что-то сделать*, куда-то *увести от книги*, <...> им нужно, чтобы он как-то постучался у их дверей и, в свою очередь, сам впустил их не только в двери своего дома, но и в двери своей души... <...> и критики, и историки литературы (и их не более счастливые преемники – «литературоведы») не знают, что с ними делать. <...> Между тем великая особенность русской литературы в том, что у нее есть *трудные* писатели, и как раз славу ее за границей составляют именно *они*: Достоевский, Толстой, Лесков» [3, с. 420–421]. Курсив автора. – *И.М.*]

Важность для Дурылина эмоционального взаимодействия с миром подтверждается и актуальной в книге классической оппозицией способов познания: искусство/наука. Возможности последней постоянно критикуются за ограниченность, неизбежную фрагментарность результатов и искажение целостной картины мира. Так, он выписывает из Шопенгауэра: «Опытные науки, когда ими занимаются ради них самих, разрабатывая их без философской тенденции, подобны лицу без глаз» [3, с. 695]. Отвержение науки как способа ограниченного познания мотивировано заинтересованно личным отношением к познанию, отмеченным персонализмом: как в жизни, так в литературе Дурылин ищет, прежде всего, утешения и теплоты: «жизнь тепла, мысль зябка» [3, с. 534]; поскольку само бытие мыслится им «не как некое безличное благо, а как лично греющая радость и свет» [4, с. 190].

Персонализм сказывается и в скептической оценке любой практики, нацеленной на социально значимое устройство жизни. Например, в государственной службе славянофилов Дурылин усматривает великую историческую беду России, поскольку занятия «реформой избирательного права» или «кооперированием Пропандинского округа» [3, с. 694] лишили их возмож-

ности писать, созидая православную культуру. А в это время их противники, «люди другого лагеря сидели за книгами, статьями, корректурами – и от Герцена, Белинского, Чернышевского и др., от ничтожного какого-нибудь Панаяева, Скабичевского и пр. – у нас горы томов литературных произведений, посвященных мысли и жизни, оказывавших влияние, вошедших, как сила, в русскую историю, а от собеседника Шеллинга – Киреевского, от тончайших мыслителей Ю. Самарина и Гилярова – поскребыши в 2-3 томах, – и никому не нужные честные проекты дорожных повинностей и уездных училищ. Ведь у славянофилов НЕЧЕГО читать (нечего – по объему, разносторонности, литерат[урной] обработке, литерат[урной] доступности, форме) – в сравнении с западниками. *Чему же было влиять? И чем влиять?*» [3, с. 383–384]. (Правда, в другом месте Дурьлин с сожалением отмечает малость таланта славянофилов). Еще более определенно, и из личного опыта, подобные взгляды высказываются через два года: «Если б я занимался "общественными", "политическими" и иными всех занимающими делами, если б хоть случайно не выпадало мне на долю уединения и тишины, я никогда бы не вчитался в Тютчева <...> А есть тысячи и миллионы людей, которых Тютчев не остановил ни на миг в их жизненном пути. <...> Они заняты были изо дня в день, из часа в час унылым трудом житья-бытья. На этот унылый путь: есть, пить, спать, доставать хлеб, – навалить еще труды общественных дел, чтения, переустройства, политики, иссушающей лженауки ... да это безумие, сущее безумие, памятуя, что и жить-то всего на свете лет 40 (сознательных), а там или – ничего, или – Неведомое "Что-то", во всяком случае, нисколько не сходствующее с тем земным мигом, который дан нам» [3, с. 694]. Итогом этих размышлений становится вывод: ответом на важные вопросы человеческого бытия могут быть только «или религиозно-этический – или эстетический» [3, с. 695]. Своеобразное совмещение их возможно как раз в художественном творчестве.

Критерием оценки литературы для Дурьлина была не только сила воздействия художественного слова на человека, но и сам предмет художественного осмысления. Еще в своей ранней программной работе «Рихард Вагнер и Россия. Вагнер о будущих путях искусства» (1913) Дурьлин, близкий младосимволистам и под влиянием Ф. Ницше, сформулировал назначение литературы – выражать религиозный дух народа и утолять религиозную жажду человека. Литература, занимая место религии, нераздели-

мо воплощает дух и мысль, чем и противостоит обыденности: она призвана возвышать человека, обращая его к вечности и пробуждая в нем «опыт божественности человека» [3, с. 584]. Целый ряд фрагментов в «Углу...» посвящен описанию собственного опыта подобных прозрений:

«А в 1907 г. эти стихи –

Для многих чувств нет меры, нет закона

И прозвищ нет –

были для меня символом всего, что укрыто за *явным, обычайным покровом жизни...*» [3, с. 627. Выделено мною. – И.М.]; «Когда я впервые, в 1908 г., купив себе новое издание А. Толстого, прочел эти строки, у меня дух захватило. Это было чистое волнение, прямое ощущение бессмертия души <...> казалось нам, плескалось в них ровным и тихим, а главное, верным прибоем, и в нем слышалась несомненная весть о бессмертии. И мы ей верили» [3, с. 339]. Анализируя философию Дурьлина, современный исследователь приходит к справедливому выводу о том, что «лирическое волнение» для него – один из двух возможных путей восхождения человека по онтологической лестнице [4, с. 193]. Литература в таком случае воспринимается «младшей сестрой религии» (И.С. Шмелев); причем ее значимость лишь возрастает из-за иссякания последней, о чем Дурьлин несколько раз говорит, повторяя слово «тает»: «Христианство давно начало таять. Наука – это только высокий бугорок, на котором раньше всего стоял снег и всего заметнее бурая плешина. 24.XI» [3, с. 344].

Необходимостью возвышающего дух воздействия литературы объясняется и неприятие Дурьлиным критической направленности русской литературы: «Все литературы всего мира *начинали* с «гимна» и хвалебной «оды». Мы – единственные выродки – *начали* с «сатиры» (Кантемир). Еще лепетать не умели, два слова связать не удавалось (силлабические стихи), а уж из своей колыбели, лежа в пеленках, вместо «агу!», пустили таким либеральным баском: «хе! хе! хе! хе-е-с!» Это предопределило судьбу русской литературы на 2 века» [3, с. 345]. Или: «Салтыков... укрылся за Щедрина, но первый отравил русскую литературу, выдав больную печень и желчь за словесность и искусство» [3, с. 700]; примеры можно множить. По сходным причинам Дурьлин отказывается в художественной значимости своим современникам И. Сельвинскому и Э. Багрицкому, пишущим стихи, «соображаясь с духом времени» [3, с. 724. Дурьлин здесь цитирует П.А. Вяземского]. Литературу, создаваемую по социальному заказу и дидактически ори-

ентированную, он называет ремесленничеством и отказывает ей в возможности вызвать эмоциональный отклик: «Мне не «волнительны» ничуть Сельвинский и Антокольский», в то время как от Бунина, Ходасевича, Цветаевой, Ахматовой, Есенина, Парнок, Волошина «я получаю счастье "лирического волнения"» [3, с. 722]. В формирующейся советской авангардной поэзии Дурылин справедливо усматривает связи с классицизмом и античностью как эпохами нормативных поэтик: «Стихи "о пользе стекла" существовали еще в XVIII в., а стиходеланием занимались еще (с большим, с несравненно большим мастерством!) в Древнем Риме, и стиходелов читывал я и по латыни...» [3, с. 724], однако ему лично близка романтическая концепция поэта, которого он сравнивал с птицей: «Птицей надо родиться. Так и поэт» [3, с. 712].

В приведенной в начале статьи записи Дурылина о самоопределении встречается цитата из Брюсова и переключка (случайная, но тем более выразительная) слова «недомерок» с цветаевскими строчками о «безмерности в мире мер». Очевидно, это свидетельствует об эпохальной типичности выраженного Дурылиным самосознания; подтверждением этому служат и выявленные исследователями интеллектуальные созвучия с ним его современников Г. Шпета и В. Эрн в осмыслении исследовательских возможностей литературы и истории, а также творческого одиночества [5, с. 212; 6, с. 178]. Укорененный в культуре человек начала прошлого столетия на исходе его второго десятка остро ощутил собственное несоответствие времени. Запись о «недомерочности» сделана в 1927 году; когда Дурылин уже осмыслил и конкретный исторический момент, и более широкий эпохальный контекст. Будучи вполне профессиональным читателем, он искал в литературе созвучное своему личному опыту. Собственное ощущение крушения культуры и таяния веры проецировались им и на литературный процесс в целом, суждения о котором отмечены эсхатологическими настроениями: К.Н. Леонтьев уже никогда не будет прочитан, В.В. Розанов был последним писателем, «шестидесятые годы» в России никогда не закончатся и т. п. «В русской литературе были свои ангелы, гномы, карлики, феи, люди; есть и человекообразные; есть и "простейшие", и "беспозвоночные". Какое богатство! Все есть. Но "развитие" идет в обратном порядке: от человека – к "простейшим"» [3, с. 176], – пишет он в 1926 г. Через два года то же самое утверждается, казалось бы, в ином эмоциональном регистре; в 64-й записи из X тетради читаем: «Большая русская литература кончилась. А писать, конечно,

еще будут, и больше, чем в 20–50-е гг. XIX ст., – и называться это тоже будет литературой. Достоевский, Толстой – писатели. Бабель и Серафимович – писатели. Есть писатели – есть и литература. Все будет благополучно» [3, с. 534]. Различимая ирония здесь лишь подчеркивает грусть, естественную для человека рубежа веков.

(Ср.: «Бог загрустил – и создал мир.

Неверно, что он создал его в радости.

Он создал его в грусти.

Но если можно еще спорить о мире, то человека – человека-то он создал в великой грусти...» [3, с. 385].

Через год мысль о деградации литературы повторится и исторически конкретизируется: «История русской поэзии начинается медным веком (медь – Державин и XVIII), продолжается золотым (Пушкинская эпоха), потом серебряным (эпоха Лермонтова, Тютчева, Фета), затем спускается деревянным (дубовые 60–70–80-е гг.), после деревянного – каменное, бронзовое десятилетие (символизм), а затем – прямой палеолит» [3, с. 756].

Эти суждения Дурылина нельзя объяснить лишь эмоциональной реакцией ссыльного священника на установившийся строй; еще в 1909–1910 годах он, судя по переписке, сошелся с Эллисом в оценке современного им литературного процесса, «который видится им своего рода декаденством по отношению к традиции, классическому ряду имен русской и западноевропейской литературы; забвением и изменой идеалам подлинно символистского искусства» [7, с. 116]. Общее ощущение крушения вековой культуры проявлено у Дурылина, прежде всего, разочарованием в целостности картины мира: «Не только снег тает. Все тает. Так, истаяла русская поэзия. Истаяла русская культура. Истаяла Россия» [3, с. 206]; «Оттого и атеизм, что "Бог" остался лишь в "специальных местах" (храм, часовня), в "специальных книгах" ("духовные"), в "специальных словах" ("исповеди" и "проповеди"), в руках "специальных людей" ("батюшек"). А прежде был – всюду: в природе, культуре, искусстве, театре, скоморохе ("Le jongleur de Notre-Dame"), даже в "святом сатире" (и туда, в козлоногих, хотелось впустить Его, Истинного и Вездесущего). Но не все ходят в "специальные места", не все хотят слушать "специальные слова" и иметь дело со "специальными людьми", – и остаются сполна без встречи с "Богом", – ибо "Бог" и "о Боге" остались только в специальных местах. Вот – колыбель умственного и душевного атеизма. А тут еще их "ежедневный" язык – убогий, жалкий, бескрылый, пытающийся лепетать о не ежедневном и вечном» [3, с. 343]. Литература же

как искусство слова пользуется языком не «ежедневным»; в этом и состоит ее специфика, определяющая особенность общественной функции: возвышать человеческий дух через обогащение человека опытом собеседника.

Подводя итоги, можно сказать, что для Дурылина литература – род коммуникативной практики, отграниченный от иных сфер человеческого общения и познания, в частности, от обыденности и науки; в силу огромного потенциала эмоционального воздействия и онтологической нагруженности художественное слово обнаруживает родство с сакральным. Подобное восприятие литературы обусловлено сопротивлением Дурылина утверждающейся в 1920–1930-е годы советской идеологии, с ее тотальной дидактичностью, а также эпохальными веяниями начала XX века: в частности, гносеологическим кризисом модернизма.

Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-14-60001а)

Список литературы

1. Мотеюнайте И.В. Чтение и его рефлексия в литературном наследии С.Н. Дурылина // Филологи как

читатели: Материалы Международной научной конференции / Отв. ред. А.Ю. Сорочан. Тверь, 2011. С. 114–127.

2. Резниченко А. Сергей Дурылин: проекты и наброски (к реконструкции ландшафта) // Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография: Сб. ст. Кн. I. Исследования / Сост., ред., предисл. Анны Резниченко. М., 2010. С. 426–491.

3. Дурылин С. В своем углу. М.: Молодая гвардия, 2006. 879 с.

4. Визгин В.П. Дурылин как философ // Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография: Сб. ст. Кн. I. Исследования / Сост., ред., предисл. Анны Резниченко. М., 2010. С. 186–196.

5. Щедрина Т.Г. Сергей Дурылин и Густав Шпет в сфере разговора русских философов (опыт историко-философской реконструкции архива) // Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография: Сб. ст. Кн. I. Исследования / Сост., ред., предисл. Анны Резниченко. М., 2010. С. 175–185.

6. Марченко О.В. С.Н. Дурылин и В.Ф. Эрн // Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография: Сб. ст. Кн. I. Исследования / Сост., ред., предисл. Анны Резниченко. М., 2010. С. 209–240.

7. Нефедьев Г.В. «Моя душа раскрылась для всего чудесного...» // Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография: Сб. ст. Кн. I. Исследования / Сост., ред., предисл. Анны Резниченко. М., 2010. С. 113–126.

READING AS A CONVERSATION: S.N. DURYLIN'S CONCEPT OF LITERATURE (BASED ON THE MATERIAL OF THE BOOK «IN ONE'S OWN CORNER»)

I.V. Moteyunaite

The paper presents an analysis of the notes about reading and literature in S.N. Durylin's book «In one's own corner» (1924–1932). Durylin regards literature as “the younger sister of religion”, which determines reading as a specific communicative practice.

Keywords: Durylin, «In one's own corner», history of Russian literature, philosophy of literature, sociology of literature.